

*А.В. ВОРОБЬЕВА*

## **ТЕКСТ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ: ОСТСТРУКТУРАЛИЗМ В СОЦИОЛОГИИ ЗНАНИЯ**

“Лингвистический поворот” в методологии социальных наук означает первостепенное внимание исследователей к проблемам производства значения. Смещением акцента с анализа социальных ценностей и норм на исследование языка и речи, изучение взаимодействия значения и реальности современная наука обязана, прежде всего, структурализму и аналитической философии (Л. Витгенштейн, Дж. Остин, Дж. Серль). Попытка “передумать” все заново в терминах лингвистики (Ф. Джеймсон [1, р. VII]), то есть применить теорию Ф. де Соссюра к экстралингвистическим объектам, привела к отождествлению реальности и текста: отныне как систему знаков можно рассматривать миф и спортивный матч, ресторанное меню и картины, ландшафт и интерьер парикмахерских. Язык науки не составляет в этом ряду исключения. В самой социологии языка доминирует макролингвистическая тематика: исследования языкового статуса, этнической и национальной идентичности, гендера, билингвизма [2]. Целью структурного анализа является выявление правил, по которым комбинируются знаки, образуя новые значения более высокого порядка. Если так, то предметом лингвистического, в частности, литературоведческого анализа может стать научное произведение. Однако для этого необходимо отвлечься от его содержания и представить литературную форму как самодовлеющий структурный инвариант.

Структурные описания текста были впервые проблематизированы в начале XX века “формальной школой”, прежде всего ОПОЯЗом, представители которого исследовали функционально-техническую форму повествования, позволяющую добиться “остраннения” реальности (В.Б. Шкловский). “Формалисты” установили, что отношения между разными частями художественного произведения строятся по принципу параллелизма, оппозиции, инверсии, но структура его внутренних отношений остается неизменной. Р.Я. Якобсон связал формализм со структурализмом. Он считал, что именно поэтическое функционирование языка “способствует осязаемости знаков”. В поэтике знак отделен от своего объекта, обычное отношение между ним и референтом нарушается, что позволяет знаку как ценностному объекту обрести независимость в самом себе. По Якобсону, “ни одну разновидность языка нельзя понять, не обратившись к “миру дискурса”, то есть соотношению дискурса и условий его существования” [3, с. 81].

Любая коммуникация, с точки зрения Якобсона, включает в себя шесть элементов. Это адресат, адресант, само создаваемое сообщение, код, который делает это сообщение понятным, “контакт”, или физический посредник коммуникации, и контекст, к которому это сообщение относится. В зависи-

---

**Воробьева Анастасия Владимировна** – аспирант Института социологии РАН. Адрес: 117259 Москва, ул. Кржижановского 24/35, строение 5. Телефон (095) 120-82-57. Факс: (095) 719-07-40.

мости от характера коммуникативного акта любой из этих компонентов может играть ведущую роль. Например, в поэтическом тексте коммуникация фокусируется на самом сообщении. Можно предположить, что научный текст имеет смысл лишь тогда, когда он описывает некоторые находящиеся вне его “факты”. Однако именно это обстоятельство подвергается радикальному сомнению.

В Пражской лингвистической школе (В. Матезиус, Я. Мукаржовский, Б. Гавранек, Ф. Водичка, Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон, Г.О. Винокур, Ю.Н. Тынянов и др.) был развернут концептуальный аппарат структурного анализа текста. Литературное произведение, которое рассматривается как “функциональная структура”, создается посредством “отчуждения” от мира: искусство разрушает традиционные знаковые системы, приковывает внимание к материальному производству языка, тем самым обновляя наше восприятие. «Формалисты» настаивают на структурном единстве произведения, элементы которого понимаются как функции динамического целого – “доминантного” уровня текста, “втягивающего” в свое поле другие его уровни. При этом художественное произведение систематически отклоняется от лингвистической нормы. Именно со времен Пражской школы термин “структурализм” стал в той или иной мере связываться с понятием “семиотика”.

Т. Иглтон отметил следующее различие между этими двумя терминами. Термин «структурализм» применяется по отношению к целому ряду объектов (от футбольных матчей до экономических способов производства и родовых отношений первобытных сообществ), которые обычно не воспринимаются как системы знаков, и, скорее, является обозначением метода. Семиотика имеет более определенную область исследования, она изучает системы, которые традиционно принято считать знаковыми: поэмы, огни транспарантов, медицинские симптомы, используя при этом методы структурализма [4, с. 100].

С точки зрения семиотики текст представляет собой стратифицированную систему, в которой значения задаются только контекстом и управляются сходством и оппозицией. Различия и параллелизмы в тексте понимаются только при соотнесении определенных его фрагментов. Литературное произведение постоянно трансформирует простые словарные значения, устанавливает новые посредством конфликтов и “сжатий” разных уровней текста. Каждое слово в тексте входит в ряд формальных структур, каждый знак участвует в нескольких различных “парадигматических паттернах” или системах одновременно. Поэтому их значение всегда переопределено, является результатом нескольких различных детерминант, действующих одновременно. По Ю.М. Лотману, «художественный текст есть результат столкновения нескольких принципиально различных кодов, конфликта между ними», при этом конфликт имеет «диалоговый характер и приводит к тому, что текст представляет собой систему взаимных перекодировок» [5, с. 686]. При этом Ю.М. Лотман не считал, что литературу можно описать лишь лингвистическими средствами: каждое значение определяется при соотнесении его с более широкими системами значений, другими текстами, кодами и нормами литературы и общества как целого. Значение текста всегда относится к “горизонту ожиданий” читателя: читатель посредством “рецептивных кодов”

идентифицирует элементы произведения как “приемы”, понимаемые через определенный код. Поэтический прием одного человека может быть повседневной речью другого.

В рамках структурализма сформировалась направление, называемое нарратологией (А. Греймас, Ц. Тодоров, Ж. Жене, Р. Барт). Структурный анализ нарратива восходит к работам К. Леви-Стросса, который рассматривал различные мифы как вариации нескольких основных тем. Любой миф можно редуцировать до определенной универсальной структуры: мифы дробятся на более мелкие единицы – мифемы, которые, как и основные звуковые единицы языка – фонемы, комбинируясь друг с другом, участвуют в создании значений более высокого порядка. Правила, по которым составляются такие комбинации, могут рассматриваться как ряд отношений, конституирующих истинное значение мифа. Эти отношения присущи самому человеческому мышлению, так что в мифе главным является не его нарративное содержание, а универсальные ментальные операции, которые его структурируют, – средства классификации и организации реальности.

В. Пропп в “Морфологии волшебной сказки” редуцировал все сказки к семи “сферам действия” и тридцати одному закрепленному элементу или функции: любая отдельная сказка просто комбинирует эти сферы действия по-своему. А. Греймас упростил схему Проппа, выявив только шесть структурных единиц: субъект, объект, отправитель, получатель, помощник, оппонент. Ц. Тодоров в своем “грамматическом анализе” “Декамерона” рассмотрел характеры как существительные, их атрибуты как прилагательные, действия – как глаголы. Тогда каждая история может быть прочитана как вид распространенного предложения, по-разному комбинирующего эти единицы. Ж. Жене в “Нарративном дискурсе” разграничил понятия “наррация” (действие и процесс рассказа истории) и “нарратив” (то, что непосредственно происходит). В связи с этим стало удобнее анализировать, например, рассказ о себе, автобиографию: “Я”, которое ведет повествование, с одной стороны, идентично тому “Я”, которое описывается, а с другой – отличается жизненным опытом.

Таким образом, структурализм демистифицировал литературу: поскольку литературное произведение, как и любой другой продукт языка, есть конструкт, его механизмы поддаются классификации и анализу, как объекты любой науки. Структурализм усомнился в романтическом постулате, согласно которому у поэмы, как и у человека, есть живая сущность, «душа», и, тем самым, поставил под вопрос стремление литературы быть уникальной формой дискурса. Главное достижение структуралистов – идея “сконструированности” значения. Значение не “природно”, это не есть что-то навек установленное, а функция того языка, которым мы владеем: язык не отражает реальность, а продуцирует ее в человеческом сознании.

По Э. Бенвенисту, отход от структурализма – это движение от “языка” к “дискурсу” [6]. Если язык – это сложная система знаков, рассматриваемая объективно, без учета конкретного субъекта, то дискурс – это явление, включающее в себя говорящего и пишущего субъекта, а также потенциальных читателей и слушателей. Пример такого «отхода» – М.М. Бахтин, который немало сделал для критики сосюрловской “объективной” лингвистики. Он

обратил внимание на конкретные выражения, используемые индивидуумами в определенном социальном контексте. По Бахтину, язык “диалогичен”, его можно понять только в терминах неизменной ориентации на другого: «язык живет в конкретном речевом общении», «законы языкового становления суть социологические законы» [7, с. 395]. Знак выступает как активный компонент речи, его значение модифицируется и трансформируется непостоянными социальными тонами, ценностями и коннотациями, то есть знак конденсирует определенные социальные условия. Такие ценности и коннотации постоянно меняются, поэтому “лингвистическое сообщество” является гетерогенным образованием с многочисленными конфликтными интересами. Это делает язык полем идеологической борьбы, а знаки – материальными посредниками идеологии, без которых не существует ценностей и идей: «всему идеологическому принадлежит знаковое значение», или «знаковый характер является общим определением всех идеологических явлений» [7, с. 304]. Хотя, по Бахтину, язык и обладает “относительной автономией”, тем не менее, не существует языка, не включенного в определенные социальные отношения, и нет таких отношений, которые не являлись бы частью политических, идеологических и экономических систем.

К антиструктуралистскому направлению можно отнести также теорию речевых актов, которая основана на различении перформативов и констативов. Хотя язык и описывает мир, его действительная функция – перформативная: язык используется в рамках определенных конвенций, чтобы произвести желаемое впечатление. Это достигается в процессе “говорения”: “Язык – это материальные практики в себе, дискурс – социальное действие” [4, с. 118]. В “констативных” (описательных) предложениях, утверждениях правды и лжи мы подавляем их реальность и эффективность как действий. Литература же возвращает нам чувство лингвистического “перформанса” в драматическом виде. По Дж. Остину, объект его анализа – “тотальный речевой акт в тотальной речевой ситуации”. Однако не ясно, как такая теория сможет избежать возврата к “интенциональному субъекту” феноменологии в стремлении закрепить свой статус; ее озабоченность языком болезненно протокольна (кто сказал, что, кому и при каких условиях)” [4, с. 119].

М.М. Бахтин отметил определенную ограниченность остиновского подхода. Абсурдно рассматривать “живые” речевые ситуации как модели литературы: литературные тексты – это не литературно окрашенные речевые акты. Поэтому их можно считать “псевдо-” или “виртуальными” речевыми актами – их “имитацией” (Остин называл их несерьезными или дефектными речевыми актами).

Р. Оманн использовал способность литературных текстов репрезентировать или имитировать речевые акты, не являясь социальным действием, для определения самой литературы [8]. Думать о литературном дискурсе в терминах человеческого субъекта не значит думать о нем в терминах конкретных человеческих субъектов: определенного исторического автора, читателя. Литературное произведение не “живой” диалог или монолог (ему не присущи “живые” отношения и субъективность), а языковой конструкт, “переписанный” и “реинтерпретированный” различными читателями.

Произведение не может “предвидеть” будущую историю своих интер-

претаций, не может контролировать и ограничивать эти прочтения – то, что мы можем делать в разговоре лицом к лицу. Его “анонимность” – часть его структуры, в этом смысле быть “автором” – “источником” собственных значений с последующей властью над ними – это иллюзия. Таким образом, понять произведение – значит понять его язык как ориентацию на читателя с точки зрения определенной позиции: в процессе чтения мы постигаем, каково воздействие этого языка, какие риторические приемы используются, каковы его поэтические средства и установки на реальность. Подобные текстовые воздействия, приемы и ориентации и являются “интенцией” произведения (при этом в тексте могут содержаться взаимно противоречивые и конфликтные “субъективные” позиции). В связи с этим выстраивается структуралистский образ читателя, которому в идеале должны быть присущи следующие характеристики: бесстатусность, бесполость, непринадлежность к классу, свобода от этничности и культурных установок. Читатель – это просто функция самого произведения, дать исчерпывающее описание текста – то же, что создать совершенного читателя, способного понять его. Таким образом, идеальный читатель – трансцендентальный субъект, не ограниченный никакими социальными детерминантами [4, с. 120].

Постструктурализм, возникший в результате критики структурализма и направленный на его преодоление, в своем разоблачении “литературного истеблишмента” пошел еще дальше. Он выявляет противоречия и парадоксы, которые возникают при попытке объективистского познания человека и общества, ставит своей задачей создание новых видов смыслообразования, выходящих за рамки структуры и вступающих в сферы, не поддающиеся формализации. Постструктуралисты сводят разнопорядковую “бесструктурность” (случай, свобода, аффекты, телесность, власть) к желанию, которое рассматривается как предельная, нередуцируемая реальность.

Например, П. Де Ман утверждал, что философия, право, политическая теория так же метафоричны и являются вымыслом, как и художественное произведение. Метафора, у которой, по сути, нет почвы, просто меняет одни знаки на другие, и язык “предает” свою условную природу, когда его функция – убеждать, нести “объективное” и истинное знание. Литература, напротив, – та область, в которой языковая двусмысленность очевидна, она меньше вводит в заблуждение читателя, чем другие формы дискурса. Литературное произведение имплицитно признает свой риторический статус, тот факт, что вся его претензия на знание – лишь игра. Литературное произведение иронично по природе и не скрывает своей неопределенности. Другие формы письма также неопределенны, но считают себя истиной. К ним принадлежит наука.

В настоящее время, когда стираются четкие грани между различными дисциплинами, идеи, методы и понятия литературной критики становятся ресурсами для анализа любого рода текстов – исторических документов, изложений научных концепций, полемик и т.п. По словам Д. Лакапра, выявить текстуальность произведения – это, прежде всего, подойти к нему как к предмету, продуцированному языком, грамматикой, интерпретацией и практикой. Он пишет, что понятие текстуальности передает менее догматическое понятие реальности: реальность изначально сплетена с проблемами ее язы-

кового использования<sup>1</sup>. Таким образом, “понятие текстуальности позволяет достичь критической перспективы в решении этих проблем и поднимает вопрос о возможностях и ограничениях значения” [11, с. 50].

По мнению Д. Вулвайна, программные утверждения и парадигмы социологии ограничивают предметную область текстового анализа. Он замечает, что в последние годы в центре внимания исследователей – скорее дебаты о теоретических программах и парадигмах, чем эмпирическая работа [12, с. 83]. В современной социологии знания текстовый анализ используется преимущественно для демонстрации порождения значений в повседневных коммуникативных “практиках”, где в борьбе за доминирование стирается граница между вымыслом и такими “объективными” формами письма как социология и история. Собственно говоря, задача заключается в разрушении той формы организации знания, которая известна как “научный текст”.

М. Малкей [13] анализирует переписку двух биохимиков, стержень которой – конфликт, несогласие во взглядах. Он утверждает, что такие парные оппозиции, как “факт/вымысел”, “факт/мнение”, “наблюдение/интерпретация” используются учеными своеобразно: термин, которому сообщается статус превосходства, применяется только по отношению к себе. Использование парных оппозиций и генерирует текст писем, анализируемых Малкеем. Их интерпретации, означающие стремление господствовать, присвоить истину, производятся и в других текстах. Поскольку предполагается, что участники диалога равноправны и не существует третьего лица, к которому они могут апеллировать, переписка может продолжаться практически бесконечно. Это соответствует деконструктивистским понятиям о том, что каждый термин заключает в себе оппозицию; письмо и речь – формы борьбы за власть, и основная тактика для достижения такой власти – присвоение “привилегированного” термина посредством подавления отношения между ним и его парой. По Дж. Серлю, именно такие иерархические оппозиции «составляют самую суть логоцентризма с его всепоглощающим интересом к рациональности, логике и поиску истины» [14, с. 54].

Сама книга Малкея являет собой образец деконструкции литературного канона: она строится как диалогическое (полифоническое) повествование, где за каждым участником закреплены определенные роли (список персонажей приводится на первой странице): Книга, Автор, Читатель, Ученый, Социолог, “Репрезентативный Студент” и т.д. Например, “Введение” начинается с Книги, которая стандартным монологическим стилем повествует том, что Автор ставит перед собой задачу “определить природу научного дискурса путем описания некоторых интерпретационных практик, которое показывает, как ученые присваивают значения и конституируют свой социальный мир” [13, с. 3]. Письма, по мнению Малкея, наиболее удобны для дискурс-анализа, так как они обеспечивают “прочный регистр” естественно происходящего интерпретационного обмена участников и помогают его деконструировать.

<sup>1</sup> Формула теории лингвистической относительности Э. Сепира: “Реальный мир” в значительной мере бессознательно строится на языковых нормах данного общества” [9, с. 234]. По В. Гумбольдту, “отношение человека к предметам целиком обусловлено языком” [10, с. 87].

ровать. Текст представлен не как линейное развертывание аргументации, а как серия перекрещивающихся многоуровневых интерпретационных рядов, что делает возможным их множественное прочтение. Часть “Введения” называется “Автор и Читатель обсуждают Книгу”. Автор говорит, что, несмотря на упоминание о множественных значениях дискурса и действия, Книга предлагает единственное, буквальное прочтение собственного текста, а “социология нуждается в большем, чем темы, данные, теории и методы, – в форме аналитического дискурса, который соответствует ее аналитической перспективе” [13, с. 9]. Каждое “социальное действие”, “культурный продукт” или текст должны трактоваться как источник или возможность создания многих значений или дальнейших текстов, поскольку те формы аналитического, которые предполагают описание единственно авторитетного научного значения, неудовлетворительны. Они должны быть пополнены новыми формами, использующими несколько голосов, чтобы доказать возможность интерпретативной множественности.

Перед автором стоит еще одна проблема: практически невозможно отделить факт от вымысла, поскольку представление факта предполагает определенную интерпретационную работу, то есть опять же “вымысел”. С другой стороны, вымысел всегда включает фактический компонент, любое произведение будет бессмысленным, если у него нет никакого “сходства” с реальным миром. Поэтому у малкеевских биохимиков то, что является фактом для одного, для другого не более чем вымысел. С точки зрения Автора, хотя социологи и принимают допущение, что факты – это символические выражения, которые имеют отношение к реальности, у них никогда нет доступа к такой предполагаемой реальности: она всегда опосредована символическими репрезентациями. Невозможно отделить реальность от символической сферы человеческого дискурса и использовать ее для проверки наших фактических утверждений.

Институт власти в науке зиждется на конституировании “открытия”. Следуя той же деконструктивистской схеме, Малкей показывает, почему научным открытиям присваивается статус привилегированности относительно открытий “ненаучных”. Ненаучные открытия происходят постоянно, они абсорбируются в повседневном дискурсе и становятся невидимыми, “тем, что знают все”. В противоположность этому, научные открытия культурно сегрегированы, то есть научный дискурс имеет монополию на открытие, подтверждает его посредством определенных ритуальных “официальных признаний”. Аналогичная ситуация складывается в конституировании ученого и “обычного” человека: дискурс ученого имеет статус превосходства, так как явление становится объектом исследования, в то время как “простой смертный” технически не подкован и некомпетентен. Совершенно иное положение вещей наблюдается в области социального действия: дискурс социолога и простого человека здесь связаны намного теснее, чем в области естественных наук. Когда социолог дает практический совет, любой может возразить ему, то есть социологическая версия социального мира определена на том же интерпретационном уровне, что и версия участника. Действительно, сложно представить, как социолог может требовать интерпретационной привилегии на практике. Автор предлагает некий аналог “коммуникативного

действия”: посредством сотрудничества, диалога аналитик и участник социального взаимодействия могут учиться друг у друга без требования интерпретационной доминанты. Именно аналитический диалог является той формой, которая поможет показать различие версий социальной жизни, и “прямое” включение участников в социологическую интерпретацию позволит изменить их дискурс, а следовательно, их действия.

Показывая возможность применения “открытых форм” монологического дискурса и диалога, Малкей дистанцируется от собственного текста. Тем самым он достигает выраженного постмодернистского эффекта: разрушается не только реальность, но и суждение о ее разрушении. Эту ситуацию можно выразить афоризмом советского происхождения: “Собственное мнение у меня есть, но я его не одобряю и не поддерживаю”. Бессмысленно ставить вопросы, серьезный это текст или игровой (более того, есть ли различия между ними), “объективны” или “искусственны” категории диалога и монолога и, наконец, насколько “свободен” или “ангажирован” Малкей как сочинитель-социолог.

Импозантную форму дискурса Малкей демонстрирует в главе “Одноактная пьеса”, посвященной экспериментальной репликации в науке. Начинается пьеса с «Programme notes». Сообщается, что и ученые-естественники, и социологи используют понятие репликации при характеристике своих действий, вследствие чего дискуссия о репликации в науке ведет к проверке репликации в социологии, и, таким образом, к более широкой теме – рефлексивности. “Дискурс о репликации становится самореферентным” [13, с. 156], поэтому автор для исследования этой темы считает уместным использовать именно драматическую форму. Персонажами пьесы являются Социологи, Ученый и Аналитик. Малкей “официально” заявляет, что все утверждения Социологов в пьесе взяты из исследовательских документов, написанных социологами науки, и частично скомбинированы из нескольких статей одного и того же автора. Утверждения Ученого основаны на материале интервью Малкея и Гилберта с биохимиками (это “прямые цитаты”), при этом контекст, в котором эти слова произносятся, близок к контексту пьесы. Действие происходит в кафе лаборатории известного американского биохимика, автора более 100 научных статей, и само это обстоятельство убеждает всех, кто к этому стремится, в фантастичности легитимных форм “научной жизни”. Даже репликация (воспроизводство научного результата) становится неотличимой от вымысла. Впрочем, малкеевская самоирония диктует вполне определенное решение проблемы: мы можем быть уверенными только в том, что имеем дело с вымыслом.

Использование деконструктивистских стратегий, ироническое дистанцирование от собственного текста составляют особый жанр “научной беллетристики”, тематизирующий прежде всего аномалии и конфликты в научном сообществе. В рамках этого жанра вовсе не обязательно серьезно относиться к констатации вымыслов. Делая предметом исследования формы текстообразования в науке, социолог может поставить, например, вопрос о том, какие стратегии письма и риторики используются при идентификации научных результатов, как контролируются “фальсификации”, какова роль цитат в производстве статей. Можно установить, каким “философиям” привержены

ученые, с помощью каких стратегий риторики конструируются эти “философии”. Особую проблемную область образуют “социальные миры” науки – распределение власти, статуса и экономических ресурсов. Все эти задачи решаются в рамках анализа “текстов”, где под текстом понимается любое организованное действие.

В книге одного из лидеров “Сильной программы” Б. Латур *«Действующая наука»* рассматривается конструирование “объективного содержания” научных статей, в том числе институт цитирования как форма воспроизводства знания. «Судьба фактов находится в руках тех, кто их в дальнейшем использует, их качество – следствие, а не причина коллективного действия», – пишет Латур [15, с. 259]. Он утверждает, что, цитируя других авторов, ученый реконструирует содержание их работ. Тексты статей, откуда берутся цитаты, не являются однозначно интерпретируемыми. Фактически, более «сильными» статьями обычно считаются те, которые характеризуются большей неопределенностью и, таким образом, их более легко “присваивать”. Использование интертекстуальности, то есть априорно конституированного различия между текстами (“оригинальной” статьей и статьей “новой”), соответствует требованию “объективности” как способности продуцировать наблюдаемые структурные различия в текстах и определению значения как различия и отсутствия [12, с. 88]. “Значение” коренится в различии, а не в каком-либо состоянии сознания автора (цитированного или цитирующего) и не в отдельно взятой статье. Латур связывает практику анализа текста (используя терминологию Ж. Деррида) с рассмотрением традиционных социологических проблем (например, функционированием научных сетей, мобилизацией ресурсов и т.п.).

Обращение современной социологии знания к исследованию текстообразования в науке и научному дискурсу ориентировано по меньшей мере на решение трех задач. Во-первых, сам текст может интерпретироваться в постструктуралистском ключе как самодостаточная форма репрессии, и тогда единственной формой “исследования” становится его деконструкция. Во-вторых, изучение устной и письменной речи в научной коммуникации открывает новую проблемную область, в рамках которой можно исследовать процесс коллективного производства знания, не ограничиваясь демонстрацией содержимого “ящика Пандоры”. В-третьих, научный текст, интерпретированный как компонент литературного процесса с присущими ему жанровыми и функционально-стилистическими особенностями, может быть изучен в качестве важнейшего социального института, конституирующего социальный порядок.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Jameson F.* The prison-house of language. Princeton: Princeton University Press, 1972.
2. *Fishman J.A.* Macrosociolinguistics and the sociology of language in the early eighties // *Annual Review of Sociology.* 1985. Vol. 11.
3. *Якобсон Р.* Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987.
4. *Eaghton T.* Literary theory: An introduction. Minneapolis, 1983.
5. *Лотман Ю.М.* Об искусстве. СПб: Искусство – СПб, 1998.

6. *Benveniste E.* Problems in general linguistics. Miami, 1971.
7. *Бахтин М.М.* Тетралогия. М.: Лабиринт, 1998.
8. *Ohmann R.* Speech acts and the definition of literature // *Philosophy and Rhetorics*. 1971. No 4.
9. *Сенур Э.* Положение лингвистики как науки // *Хрестоматия по истории языкознания XIX и XX веков*. Ч. 2. М., 1965.
10. *Гумбольдт В.* О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода // *Хрестоматия по истории языкознания XIX и XX веков*. Ч. 1. М., 1964.
11. *LaCapra D.* Rethinking intellectual history and reading texts // *Modern European intellectual history: Reappraisals and new perspectives* / Ed. by D. LaCapra, S.L. Kaplan. Ithaca: Cornell University Press, 1982.
12. *Woolwine D.E.* Reading science as text // *Vocabularies of public life* / Ed. by R. Wuthnow. London, 1995.
13. *Mulkay M.* The word and the world: Explorations in the form of sociological analysis. London: George Allen & Unwin, 1985.
14. *Серль Дж.* Перевернутое слово // *Вопросы философии*. 1992. № 4.
15. *Latour B.* Science in action: How to follow scientists and engineers through society. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.